ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПИСЬМА
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
ИЗ ТЮРЬМЫ.

ИЗД. КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
МОСКВА.—1920.

I.173.197

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ.

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ.

Письма

I
I.773.197

Типография Коммунистического Интернационала, Москва.

ВВЕДЕНИЕ.

Три года и четыре месяца провела в тюрьме Роза Люксембург во время мировой войны. Год, с февраля 1915 по февраль 1916 год, в Берлинской женской тюрьме (Барнимштрассе) за речь о жестоком обращении с солдатами, которую она произнесла во Франкфурте на Майне, затем 2 года и 4 месяца (с 10 июля 1916 г. по 10 ноября 1918 г.) в порядке охраны в Берлине, Вронке, Бреславле. Она была совершенно отрезана от внешнего мира, до нее могли доходить только книги и письма, прошедшие строгую цензуру. Раз в месяц под строгим надзором было разрешено свидание.

Хотели сломить силу мужественного передового борца пролетариата и заставить замолчать ее голос, будящий, бичующий, вещий. Ни то, ни другое не удалось. Эта стальная воля не ослабла. Роза Люксембург в эти годы тюрьмы неутомимо работала.

Несказанное одиночество бесконечных дней и ночей сосредоточило все силы ее ума и ее души. В боевой страсти голос ее подымался до мощной резкости зовущей на штурм трубы: знаменитая „брошюра Юниуса“ созданная за решеткой не была единственным призывом к пробуждению, нашедшим дорогу из тюрьмы Роза Люксембург умела передавать своим политическим друзьям листовки, воззвания и существенный материал для „писем Спартака“. Она пыталась из своей камеры влиять на революционное развитие немецких рабочих, отдавалась до переутомления нелегальной переписке и литературному труду.

Но здесь мы не хотим почтить ни ее научной, ни ее агитационной работы за эти страшные годы. Здесь мы хотим показать всю душу женщины, на которую столько клеветали, молодежи, рабочим, всем тем, за чье благосостояние и свободу она боролась, страдала и погибла — погибла от трусливой руки преступника. Здесь исчезает боязнь перед обнажением личной жизни. Эти письма к частному лицу уже не являются больше частной перепиской.

Тот, кто знает Розу Люксембург—ученого и борца, не знает еще всех сторон ее души. Письма из тюрьмы дополняют картину. Сторонники и товарищи Розы Люксембург имеют право знать неисчерпаемое богатство ее сердца. Они должны видеть, как эта женщина поднимаясь над собственным страданием обнимает все существа мироздания своей любовью и творческой силой, как ее сердце изливается живым родником, как речь окрыленная стихами отзывается в ней как занимает ее судьба и ежедневная работа друзей. Так мы открываем памятник, который покойная сама воздвигла себе.

ИЗ ЛЕЙПЦИГА.

Открытка. Это единственная открытка с воли. Р. Л была арестована 10 июля.

Лейпциг 7.7.16.

Моя милая маленькая Соня.

Сегодня давящая влажная жара, как обычно в Лейпциге—я так скверно переношу здешний воздух. Я до обеда 2 часа сидела в парке у пруда и читала «Богатого человека» («Богатый человек» Галсворти). Блестящая вещь. Рядом со мной сидела старушенция, глянула на заглавный лист и улыбнулась: «Это наверное хорошая книга. Я тоже люблю читать книги.» Прежде чем приняться за чтение я, конечно, осмотрела деревья и кусты в парке—все знакомые образы, что я установила с удовлетворением. Напротив соприкосновение с людьми меньше удовлетворяет меня, я думаю, что я скоро удалюсь в отшельничество как святой Антоний, но—уже без искушений. Будьте веселы и спокойны.

Сердечный привет.

Роза.

Большой привет детям.

ИЗ БЕРЛИНА.

Открытка.

Берлин 5. 8. 1916 г.
(тюрьма на Барнимштрассе).

Моя милая маленькая Соня.

Сегодня 5-ое августа, я только что получила Ваши письма вместе: от 10-го июля (!) и от 23-го июля. Вы видите почта до меня идет дольше, чем до Нью-Йорка. Между тем уже я получила и книги, которые Вы мне послали и сердечно благодарю вас за все. Мне очень больно, что я должна была покинуть вас в вашем положении. С каким удовольствием я бы снова побродила с вами по полям или посмотрела бы с вышки на кухне на закат солнца... От Гельми я получила подробную открытку с описанием путешествия. Большое, большое спасибо и за Эльдерлина. Но вы не должны так сорить для меня деньгами, это меня мучит. Сердечное спосибо и за все вкусные вещи и за обмотки. Напишите, скоро, тогда я может быть получу ваше письмо еще в этом месяце. Жму крепко и горячо Вашу руку. Оставайтесь мужественной и не поддавайтесь угнетенному настроению. Я в мыслях в Вами. Кланяйтесь много раз Карлу и детям.

Ваша Роза.

Пьер Лоти чудесен, остальных я еще не читала.

ИЗ ВРОНКЕ.

Открытка. Эта открытка была написана в тот день, когда Карл Либкнехт был приговорен к 4-м годам смирительного дома второй инстанцией.

Вронке 24. 8. 1916.

Милая Сонечка, если бы я сейчас могла быть с вами. Дело тяжело меня поражает. Но, пожалуйста держите голову высоко. Многое будет иначе чем сейчас выглядит. *Но вы сейчас должны уехать* — куда-нибудь в деревню, на лоно природы, где красиво и где за вами будет уход. Нет никакого смысла и цели, чтобы вы теперь продолжали сидеть здесь и чувствовали себя все хуже и хуже. До последней инстанции могут снова пройти недели. Пожалуйста уезжайте, как только будет возможно..... Для Карла сознание, что вы на отдыхе безусловно будет облегчением. Тысячу раз спасибо за Ваши милые строчки от 10-го и за чудесные подарки. Конечно, будущей весной мы будем бродить вместе по полям и по Ботаническому саду, я уже сейчас этому радуюсь. Но теперь уезжайте отсюда, Сонечка. Не могли бы вы поехать на Констанцское озеро, чтобы Вы немного почувствовали юг. Перед Вашим отъездом я во что бы то ни стало хотела бы вас увидеть; подайте прошение в комендантуру. Напишите скорее пару строк. Оставайтесь спокойной и веселой несмотря ни на что. Обнимаю вас.

Р.—

Большой сердечный привет Карлу.

Получила обе открытки от Гельми и от Бобби и очень обрадовалась.

Вронке 21. 11. 16.

Моя любимая маленькая Сонечка.

Я узнала от Матильды, что Ваш брат пал и совершенно потрясена этим ударом, который снова обрушился на Вас. Что только не приходится Вам переносить за последнее время. А я даже не могу быть с Вами, чтобы немножко отогреть и приободрить Вас.... Я еще безпокоюсь за Вашу мать, как она перенесет это новое горе. Это—тяжелые времена и нам всем приходится составлять длинный список потерь. Теперь как под Севастополем. Каждый месяц может действительно считаться за год. Я надеюсь, что я скоро смогу увидеть Вас, я стремлюсь к этому всем сердцем. Как получили Вы известие о Вашем брате: от матери или непосредственно? Что слышно о другом Вашем брате. Я очень хотела послать Вам что-нибудь с Матильдей, но к сожелению, здесь у меня не было ничего, кроме маленького пестренького платочка; не смейтесь над ним; он должен был только сказать Вам, что я Вас очень люблю. Напишите мне скорее пару строк, чтобы я видела в каком Вы настроении.

Большой привет Карлу. Сердечно обнимаю Вас.

Ваша Роза.

Большой привет детям.

Вронке 15. 1. 17

Ах, сегодня был момент, который я горько почувствовала. Свист паровоза в 3 ч. 19 м. сказал мне, что Матильда отъезжает и я бегала как зверь в клетке взад и вперед вдоль моей стены, моя обычная «прогулка» и мое сердце сжималось от скорби, что я тоже не могу уехать прочь отсюда, о, только бы прочь отсюда. Но это ничего, скоро мое сердце было призвано к порядку, и должно было успокоиться, оно уже привыкло подчиняться, как хорошо дрессированная собака. Не будем говорить обо мне.—

Сонечка, помните, что мы собиралась сделать, когда война кончится? Совместное путешествие на юг. И мы это сделаем. Я знаю, Вы мечтаете о том, чтобы поехать со мною в Италию, которая является для вас грезой из грез. Я же собираюсь затащить Вас в Корсику. Это еще больше чем Италия. Там забываешь Европу, по крайней мере современную Европу. Представьте себе широкий героический ландшафт со строгими очертаниями гор и долин, наверху ничего, кроме голых каменных глыб, благородного серого цвета, внизу развесистые оливки, лавровые деревья и древние каштаны. И кругом первобытная тишина, — ни человеческого голоса ни птичьего крика, только ручеек журчит где-нибудь между камнями, или в вышине между скал шумит ветер, тот же самый, который надувал паруса Одиссея. И те люди, которых Вы встречаете, точно подходят к ландшафту. Внезапно появляется, напр., из-за поворота горной тропы

караван — корсиканцы всегда ходят друг за другом растянутым каэрваном, а не толпой как наши крестьяне. Впереди обычно бежит собака, за ней медленно выступает либо коза, либо ослик нагруженный мешками, наполненными каштанами, затем следует большой мул, на котором сидит женщина, в профиль к животному с прямо свисающими ногами, держа ребенка на руках. Она сидит выпрямившись стройная как кипарис, неподвижно; рядом шагает бородатый мужчина спокойным твердым шагом, оба молчат. Вы могли бы поклясться, что это святое семейство. И такие сцены Вы там встретите на каждом шагу. Я каждый раз бывала так потрясена, что мне невольно хотелось опуститься на колени, как мне всегда хочется перед совершенной красотой. Там Библия жива и древний мир тоже. Мы должны туда поехать и сделать так как я: пройти весь остров пешком, спать каждую ночь в другом месте, встречать каждый восход солнца уже в пути. Привлекает это Вас? Я была бы счастлива показать Вам этот мир...

Читайте много, Вы должы и духовно подвинуться вперед, и Вы это можете, Вы еще свежая и воспри_имчивая. А теперь я должна кончить. Будьте веселы и спокойны в этот день.

Ваша Роза.

Вронке 18.2.17.

...Уже давно меня ничто так не потрясало как короткий разсказ Марты о Вашем посещении Карла. Как Вы нашли его за решеткой и как это на Вас подействовало. Почему Вы мне умолчали об этом? Я имею право принимать участие во всем, что делает Вам больно, и не позволю ограничить своих прав собственности. Это мне, впрочем, напомнило живо мое первое свидание с братьями и сестрами в Варшавской цитадели 10 лет тому назад, там тебя выводят в настоящую двойную клетку сплетенную из проволоки, т. е. меньшая клетка свободно стоит в большей и разговаривать приходится через двойное металлическое сплетение, от которого рябит в глазах. Так как дело было сразу после 6-ти дневной голодовки, я была так слаба, что ротмистр (наш крепостной комендант) должен был почти внести меня в комнату свиданий, и в клетке я обеими руками держалась за проволоку, что, вероятно, еще усиливало впечатление дикого зверя в зоологическом саду. Клетка стояла в довольно темном углу комнаты, и мой брат тесно прижался лицом к проволоке. Он все время спрашивал «где ты» и вытирал с пенснэ слезы, которые затемняли ему зрение. — С каким бы удовольствием и радостью я бы сидела теперь там в клетке в Люкау, чтобы избавить от этого Карла.

Передайте Пфемферту мою сердечную благодарность за Гальсворти. Я вчера дочитала его до конца

и очень этим довольна. Правда, этот роман мне понравился гораздо меньше «Богатого человека», несмотря на то, а вернее, именно потому, что там социальная тенденция преобладает. В романе я смотрю не на тенденцию, а на художественную ценность. И в этом отношении в «Братьях в мире» мне мешает, что Гальсворти слишком *остроумен*. Это Вас удивит. Но это тот же тип, что Бернард Шоу и еще Оскар Уайльд. Очевидно, теперь сильно распространенный тип в английской интеллигенции: тип очень проницательного, утонченного, но пресыщенного человека, который рассматривает все на свете с улыбающимся скептицизмом. Иронические замечания, которые Гальсворти с серьезнейшей физиономией делает о героях собственной драмы, часто заставляют меня громко смеяться. Но как действительно воспитанные и светские люди никогда или очень редко позволяют себе громко смеяться над окружающими хотя они и замечают все смешное, так и истинный художник никогда не иронизирует над собственными сезданиями. Само собой понятно, Сонечка, что это не исключает сатиры в большом стиле. Например, „Эмануил Квинт" ГергардаГауптмана самая кровавая сатира на современное общество из всех написанных на протяжении ста лет. Но сам Гауптман не ухмыляется при этом; он в конце стоит с дрожащими губами и широко раскрытыми глазами, в которых блестят слезы. Наоборот, Гальсворти своими остроумными замечаниями действует на меня как сосед за столом на вечере,

который п входе каждого нового гостя шепчет мне на ухо про него злую сплетню.

... Сегодня опять воскресенье, убийственейший день для заключенных и одиноких. Мне грустно, но мне страстно хочется, что бы ни Вы ни Карл не чувствовали грусти. Напишите скорее, когда и куда Вы, наконец, поедете отдохнуть.

Сердечно обнимаю Вас и кланяюсь детям.

Ваша Роза.

Не может ли Пф. прислать мне еще чего-нибудь хорошего. Может быть чего-нибудь Т. Мана. Я еще ничего не знаю из его произведений. Еще одна просьба: солнце начинает ослеплять меня на воздухе; может быть Вы пришлете мне в конверте 1 метр тонкой черной вуали, усыпанный черными точечками. Заранее очень благодарю Вас.

Вронке 19.4 1917 г.

Я вчера очень обрадовалась открытке с Вашим приветом, хотя он звучал так грустно. Как бы я хотела быть с Вами, чтобы снова заставить Вас смеяться как тогда,—помните, после ареста Карла, когда мы обе в кафе Фюрстенгоф произвели некоторое впечатление нашими взрывами жизнерадостного смеха. Как тогда было хорошо—несмотря ни на что! Наша ежедневная поездка ранним утром на автомобиле на

BIBLIOTEKA BV *NARODOWA*

Потсдамскую площадь, затем поездка в тюрьму через цветущий Тиргартен на тихую Лертерштрассе с высокими вязами, затем на обратном пути обязательная обстановка в Фюрстенгофе, затем ваш обязательный визит ко мне в Зюденде, где все стояло в майской красе, славные часы в моей кухне, где Вы и Мими терпеливо дожидались за столиком, покрытым белой скатертью произведения моего кулинарного исскуства (помните чудесные haricots verts по-парижски)... Ко всему этому у меня сохранилось живое воспоминание о неизменно сияющей жаркой погоде, ведь только при такой погоде испытываешь радостное весеннее чувство. Затем вечером, мои непременные визиты к Вам в Вашей милой комнатке — я так люблю Вас хозяйкой, Вам так особенно мило идет, когда Вы с Вашей фигуркой подростка, стоя за столом разливаете чай — и, наконец, в полночь наше взаимное провожание друг друга домой по благоухающим темным улицам. Помите ту сказочную лунную ночь в Зюденде, когда я провожала Вас домой и карнизы домов с их резкими черными очертаниями на фоне нежной синевы небес казались нам старыми рыцарскими замками.

Сонюша, я так хотела бы постоянно быть с Вами, развлекать Вас, болтать с Вами или молчать, чтобы Вы не впадали в Ваше мрачное безнадежное раздумье. Вы спрашиваете в Вашей открытке: «Почему все так?». Дитя, «так»—это жизнь, издревле она приносила с собою страдание и разлуку, и тоску. Нужно всегда принимать ее со всем и находить *все* красивым и хоро-

шим. Я он крайней мере так делаю. Не из надуман ной мудрости, а просто так, по свей природе. Я ин. стинктивно чувствую, что это единственный правиль- ный способ принимать жизнь и поэтому чувствую себв действительно счастливой во всяком положении. И я бы не хотела ничего вычеркнуть из своей жизни и что-либо пережить иначе, чем оно было и есть Если бы я только могла довести Вас до такого жизне- понимания... Я еще не поблагодарила Вас за портрет Карла, как Вы меня им порадовали, это был дей- ствительно самый лучший подарок ко дню рождения, какой я только могла от Вас получить. Он стоит в хорошей рамке на столе предо мной и приследует меня своим взглядом (Вы знаете бывают портреты которые как будто смотрят на Вас куда бы Вы их не поставили). Портрет необычайно похож. Как Карл теперь должен радоваться известиям из России. Но и Вы лично имеете причину быть довольной: теперь наверно ничто уже не помешает приезду Вашей ма- тери к Вам. Приняли ли Вы это уже во внимание? Ради Вас я страшно хочу солнца и тепла. Здесь всю- ду еще только почки, а вчера у нас был град. Какой вид имеет мой «южный ландшафт» в Зюденде? В про- шлом году мы обе стояли там у решетки и Вы во- схищались пышностью флоры.

Вы не должны мучиться с письмами. Я буду пи- сать Вам часто, но меня вполне удовлетворяет, когда Вы присылаете коротенький привет на открытке. Будьте побольше на воздухе, ботанизируйте побольше.

При Вас ли мой маленький цветочный атлас? Будьте спокойны и веселы, дорогая, все будет хорошо, Вы увидите. Много раз сердечно обнимаю Вас.

Всегда Ваша Роза.

Вронке 2. 5. 1917.

... Если Вы помните в прошлом году в апреле. Я как-то срочно вызвала Вас обоих в Ботанический сад, чтобы послушать со мною соловья, который давал целый концерт. Мы тихо сидели, спрятавшись в густом кустарнике на камнях у маленького протечного пруда; но после соловья мы внезапно услышали однозвучный жалобный крик, который звучал приблизительно так: «глиглиглиглиглик». Я сказала, что это звучит, как крик какой-нибудь болотной или водяной птицы, Карл согласился со мной, но мы абсолютно не могли установить, что это за птица. Подумайте только тот же самый жалобный крик я услышала здесь вблизи, несколько дней тому назад, рано утром; у меня сердце билось от нетерпения поскорей узнать, что это за птица. Я не имела покоя, пока я сегодня не узнала, что это не водяная птица, а вертишейка, серый вид воробьиных. Она немножко больше воробья и получила свое имя от того, что она в минуту опасности пытается прогнать своих врагов смешными ужимками и поворотами головы. Она питается только муравь-

ями, которых она собирает своим клейким языком, подобно муравьиному льву. Испанцы поэтому называют его Гормигеро—муравьиная птица. Мэрикэ, между прочим, посвятил этой птице очень хорошенькое шуточное стихотворение, которое Гуго Вольф переложил на музыку. У меня такое чувство, как будто я получила подарок, с тех пор, как я знаю, что эта за птица с жалобным голосом. Может Вы напишите об этом Карлу, это порадует его.

Что я читаю? Главным образом естественно-научное: географию растений и животных. Вчера я как раз читала о причине исчезновения певчих птиц в Германии: это все увеличивающиеся рациональное лесное хозяйство, садоводство и земледелие, которые шаг за шагом уничтожают все естественные условия их питания и постройки гнезд: дуплистые деревья, пустоши, густой колючий кустарник, опавшие листья на садовых дорожках. Мне было очень больно, когда я это читала. Мне жалко не пения для человека, но картина тихой неудержимой гибели этих беззащитных маленьких созданий сделала мне так больно, что я должна была заплакать. Это напомнило мне русскую книгу проф. Зибера о вымирании краснокожих в Северной Америке, которую я читала еще в Цюрихе: они как раз так, шаг за шагом, вытесняются культурным человеком со своей земли и обрекаются на тихую жестокую гибель.

Но я, конечно, больна, что меня теперь все так глубоко волнует. Или, знаете что? У меня иногда

бывает чувство, что я не настоящий человек, а тоже какая-нибудь птица или другое животное в образе человека; внутренно я чувствую себя гораздо больше дома на таком клочке сада, как здесь, или в поле среди шмелей и травы, чем—на партийном съезде. Вам ведь я могу все это сказать. Вы не почувствуете сразу измены социализму. Вы ведь знаете, я несмотря на это все же надеюсь умереть на посту: в уличной битве или в смирительном доме. Не-мое внутреннее я больше принадлежит моим синичкам, чем «товарищам». И не потому, чтобы я находила в природе, как многие обанкротившиеся политики, убежище или успокоение. Наоборот, я и в природе на каждом шагу нахожу так много жестокого, что я очень страдаю. Представьте себе, например, что у меня из головы не выходит следующее маленькое переживание. Прошлой весной я возвращалась домой с прогулки по полям по моей тихой пустынной улице, как вдруг мне бросилось в глаза маленькое темное пятнышко на земле. Я нагнулась и увидела немую трагедию: большой навозный жук лежал на спине и безпощадно отбивался ногами. в то время, как целая толпа крошечных муравьев кишила по нем и поедала его живьем. Мне стало жутко, я вынула носовой платок и начала отгонять грубых насекомых. Но они были так нахальны и настойчивы, что мне пришлось выдержать длинную борьбу с ними и, когда я, наконец, освободила бедного страдальца и положила его далеко на траву, две ноги у него были уже отъедены... Я убежала с

тяжелым чувством, что я ему оказала очень сомнительное благодеяние.

Теперь уже такие длинные сумерки по вечерам. Как я люблю обычно эти часы. В Зюденде у меня было много дроздов, здесь я их сейчас не вижу и не слышу. Всю зиму я кормила парочку, а теперь она исчезла. В Зюденде я в это время любила по вечерам бродить по улице; так красиво, когда при угасающем дневном свете внезапно вспыхивают розовые газовые огоньки фонаря и выглядят такими неуместными в сумерках, как будто они немножко стыдятся самих себя. Через улицу деловито пробегает неясная фигура какой-нибудь запоздавшей швейцарихи или горничной, которая спешит поскорей сбегать к булочнику или в мелочную лавочку, чтобы купить чего-нибудь. Дети сапожника, с которыми я дружна, обычно играли на улице в темноте пока их из-за угла энергично не вызывали домой. В этот же час обычно какой-нибудь дрозд не находящий покоя, внезапно начинал пищать или болтать со сна, как шаловливый ребенок и с шумом перелетал с одного дерева на другое. И я стояла посреди улицы, считала первые звезды и не хотела уходить домой от мягкого воздуха и сумерек, в которых день и ночь так нежно прижимаются друг к другу.

Сонюша, я скоро опять напишу Вам. Будьте веселы и спокойны, все будет хорошо и с Карлом тоже. До свиданья, до следующего письма.

Обнимаю Вас.

Ваша Роза.

Вронке 19. 5. 1917.

... Как здесь красиво теперь! Все зеленеет и цветет. Каштановые деревья стоят в свежем прекрасном зеленом уборе, декоративная смородина покрыта желтыми звездочками, декоративная вишня с краснова-тыми листьями тоже уже цветет и черемуха зацветет на-днях. Я сегодня получила на прощанье от навестившей меня Луизы Каутской кучу незабудок и анютиных глазок и сама посадила их. Две круглые клумбочки и прямая линия между ними, все по очереди незабудки и анютины глазки—все сидит так крепко; я едва верила своим глазам, ведь я сажала в первый раз в жизни и все так удалось. Как раз к Троице у меня будет столько цветов под окном.

Новых птиц здесь целая уйма, каждый день я нахожу какую-нибудь, которую я прежде не видала. Ах, помните, тогда в Ботаническом саду утром с Карлом, когда мы слушали соловья. Мы еще видели такое большое дерево, еще совсем без листьев, но сплошь покрытое маленькими, блестящими, белыми цветами; мы ломали себе голову, чтобы определить, что это такое, так как было ясно, что это не фруктовое дерево и цветы были тоже довольно необычные. Теперь я знаю. Это серебристый тополь и эти цветы совсем не цветы, а молодые листочки. Дело в том, что выросший лист серебристого тополя только снизу белый, а сверху темно зеленый, а молодые еще с обеих сторон покрыты белым пушком и блестят на солнце как белые цветы. Такой большой тополь ра-

стет здесь в моем садике и на нем предпочтительно сидят все певчие птицы. Тогда, в тот же день вечером вы оба были у меня, помните. Было так хорошо, мы читали что-то друг другу вслух и в полночь, когда мы стоя прошались—через открытую болконную дверь вливался дивный воздух и запах жасмина—я еще Вам продекламировала ту испанскую песню которую я так люблю: *)

Gepriesen sei durch wen die Welt entstund,
Wie trefflich schuf er sie nach allen Seiten:
Er schuf das Meer, mit endlos tiefem Grund,
Er schuf die Schiffe die hinübər gleiten
Er schuf das Paradies mit ew'gem Licht
Er schuf die Erde und — dein Angesicht. *

Ах, Сонечка, если Вы не слышали этого с музыкой Вольфа. Вы не знаете сколько пылкой страсти вложено в эти два простых заключительных слова.

Сейчас, пока, я это пишу, в комнату влетел большой шмель и заполнил ее громким жужжаньем. Как это красиво, какая глубокая радость жизни сказывается в этом полом звуке, вибрирующем в празднике,—летней жары и цветочного аромата!

Сонечка, будьте веселы и напишите мне скорей, скорей, я стосковалась.

Ваша Роза.

---

*) Хвала Тому, через кого создался мир, как прекрасно он его создал по всем направлениям: Он создал море с безконечной глубиной, Он создал скользящие мимо корабли, Он создал рай с вечным светом, Он создал землю—и твое лицо.

Вронке, 23.5 1917 г.

... Ваше последнее письмо от 14-го было уже здесь, когда я посылала свое. Я очень рада снова чувствовать вместе с Вами и хотела бы сегодня послать Вам горячий привет к Троице. „Пришла Троица, милый праздник", так начинается Гетевский Рейнеке Фукс. Я надеюсь, что Вы проведете его хоть до некоторой степени весело. В прошлом году ведь мы с Вами и с Матильдой на Троицу сделали чудную прогулку в Лихтенраде, где я нарвала колосьев для Карла и чудесную ветку с вербочками. А вечером мы еще ходили гулять по Зюдендовскому полю, с розами в руках, как „три знатные женщины из Равенны"..

Здесь цветет уже сирень, она распустилась сегодня; так тепло, что я должна была надеть свое самое легкое муслиновое платье. Но несмотря на солнце и тепло мои птички постепенно, почти совсем смолкли. Они, очевидно, всецело заняты высиживанием, самки сидят в гнезде, а у самцов дел полон клюв, чтобы найти пропитание и для себя и для жены. И гнезда у них очевидно, главным образом, за оградой в поле или на больших деревьях, во всяком случае теперь в моем садике тихо; только изредка кратко запоет соловей или зеленушка простучит своими шажками или поздно вечером загремит зяблик; моих синичек больше совсем не видно. Только вчера я получила короткий привет издалека от одной синички и это меня всю взволновало. Синичка не оседлая птица, как черная синица, она прилетает к нам только

в конце марта. Она в начале всегда держалась вблизи моего окна, подлетала с другими к окну и прилежно пела свое смешное: «цици бэ», но так растянуто, что это звучало совсем, как детское шаловливое подразниванье. Я каждый раз смеялась и отвечала ей точно также. Затем в начале мая она исчезла вместе с другими, чтобы где-нибудь высиживать птенцов. Я неделями больше не видела и не слышала ее. Вчера я вдруг услышала из за стены, отделяющей наш двор от территории другой тюрьмы, знакомый привет, но совершенно изменившийся, совсем коротко и быстро, три раза подряд: „цици бэ—цици бэ — цици бэ“, и все смолкло. У меня сердце екнуло, так много было вложено в этот торопливый далекий призыв, целая маленькая птичья история. Это было воспоминание синички о чудной поре любви и ухаживания ранней весной, когда целый день можно было петь и кокетничать, теперь приходится целый день летать и собирать мошек и для себя и для семейства, так, что можно позволить себе только коротенькое воспоминание: „У меня нет времени — ах, да, это было хорошо—весна скоро кончается, цици бэ—цици бэ—цици бэ“. — Верите ли, Сонюша, что меня может глубоко захватить такой птичий крик, в который вложено столько выражения. Моя мать, которая признавала библию, наряду с Шиллером, за источник высшей мудрости, твердо и определенно верила, что царь Соломон понимал птичий язык. Я тогда улыбалась материнской наивности со всем превосход-

ством своих 14-ти лет и современного естественно-научного образования. Теперь я сама, как царь Соломон: я тоже понимаю язык птиц и зверей. Конечно, не так, как если бы они употребляли человеческие слова, но я понимаю различнейшие оттенки и ощущения, которые они вкладывают в свои звуки. Только грубому уху равнодушного человека пение птиц кажется всегда одинаковым. Если любить и понимать зверей, можно найти большое разнообразие выражений, целый язык. Много говорит и то, что они теперь все смолкли, после шума ранней весны и я знаю, что, если я осенью буду еще здесь. что весьма вероятно, все мои друзья снова возвратятся и будут искать корма у моего окна; я уже сейчас радуюсь одной синичке, с которой я особенно дружна.

Сонюша, Вы огорчены моим долгим заключением и спрашиваете: «каким образом одни люди могут распоряжаться другими людми! К чему все это?». Простите меня, но я при чтении громко расхохоталась„ У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть некая госпожа Хохлакова, которая обычно задает как раз такие вопросы, при чем она беспомощно оглядывает то одного, то другого, но прежде чем кто либо даже попытается ответит, перескакивает на что-нибудь новое. Птичка моя, вся культурная история человечества, которая по скромным оценкам продолжается уже двадцать тысячелетий с лишним, основана на том, „ что одни люди распоряжаются другими людьми“, что глубоко коренится в материальных условиях

жизни. Лишь дальнейшее мучительное развитие сможет изменить это и мы как раз теперь являемся свидетелями одного из таких мучительных периодов, а Вы спрашиваете: «к чему это все». «К чему»—вообще не является понятием для жизни в целом и для его форм. К чему есть синички на свете. Я право не знаю, но я радуюсь, что они есть и чувствую сладостное утешение, когда внезапно через стену, издалека прозвучит торопливое „цици бэ“.

Впрочем, Вы переоцениваете мою «просветленность», мое внутренне равновесие и мое блаженство могут быть к сожалению расшатаны каждой легкой тенью, которая на меня падает и тогда я невыразимо страдаю, только я имею свойство тогда умолкать. Буквально, Сонечка, я тогда не могу произнести ни одного слова. Например, в эти дни я была так весела и счастлива, так радовалась солнцу, и вдруг, в понедельник меня словно ледяным ветром охватило и все мое сияющее веселье внезапно превратилось в глубочайшую скорбь. И если бы олицетворение всего счастия моей души стояло бы передо мной, я не могла бы произнести ни одиого звука, и в лучшем случае немыми взглядами выражала бы свое отчаяние. Правда у меня довольно редко бывает искушение заговорнть. Я ведь неделями не слышу собственного голоса, как раз и по этой причине я приняла героическое решение не вызывать сюда свою Мими. Зверек привык к веселью и жизни, он любит, когда я пою, смеюсь и по всем комнатам играю с ним в прятки, здесь он

нашел бы меня слишком печальной. Поэтому я оставляю ее у Матильды. Матильда приедет ко мне в ближайшие дни и я надеюсь к тому времени снова приободриться. Может быть Троица будет и для меня «милым праздником». Сонечка, будьте веселы и спокойны, все еще будет хорошо, поверьте мне. Сердечно кланяйтесь Карлу. Обнимаю Вас много раз.

Ваша Роза.

Большое спасибо за красивую картинку.

Вронке, конец мая 1917 г.

Сонюша, Вы знаете где я, где я Вам пишу это письмо? В саду! Я вытащила себе маленький столик и сижу среди зеленых кустов. Вправо от меня желтая смородина, которая пахнет гвоздикой, слева жимолость, надо мной клен и молодое стройное каштановое дерево протягивают друг другу свои широкие зеленые руки, а предо мной тихо шумит своими белыми листьями большой, серьезный и нежный серебристый тополь. По бумаге, на которой я пишу, пляшут легкие тени листьев, со светлыми солнечными бликами и мокрые от дождя листья от времени до времени роняют капельку на мое лицо и руки. В тюремной церкви идет служба; неясно раздается низкий звук органа, заглушенный шумом деревьев и светлым

хором птиц, которые сегодня все веселы; издали кричит кукушка. Как хорошо, как я счастлива, уже почти чувствуется настроение Иванова дня, — полная роскошная зрелость лета и опьянение жизнью; помните сцену в Вагнеровских Мейстерзингерах, народную сцену, где пестрая толпа хлопает в ладоши и кричит: «Иванов день! Иванов день!» и все сразу начинают плясать Бидермейеровский вальс.—Что я вчера пережила! Я должна Вам это рассказать. Утром я нашла в ванной на окне большого махаона. Он, наверно, уже пару дней сидел там и до полусмерти разбился, ударяясь о твердое стекло; он подавал только слабые признаки жизни, двигая крыльями. Когда я его заметила, я, дрожа от нетерпения, подошла, влезла на окно и осторожно взяла его в руки, он не сопротивлялся и я подумала, что он, наверное, умер. Я посадила его на подоконник, чтобы он пришел в себя и тогда огонек жизни еще слабо тлел, но затем он остался неподвижным; тогда я положила перед ним пару раскрытых цветов, чтобы у него было, что поесть; как раз перед окном пел садовый пересмешник так громко и весело, что кругом звенело. Я невольно сказала вслух: «послушай, как весело поет птичка и тогда немножко жизни вернется и к тебе». Я сама рассмеялась этому обращению к полумертвому махаону и подумала: напрасные слова. Но нет—через полчаса зверек отдохнул, сперва немного поползал взад и вперед и, наконец, медленно улетел. Как я радовалась этому спасению. Это было одно переживание.

После обеда я, конечно, опять пошла в сад, где я бываю с 8 часов утра до 12 (когда меня зовут обедать) и потом с 3-х до 6-ти. Я ждала солнца, у меня было чувство, что оно должно, должно было еще показаться вчера. Но оно не показалось—и мне стало грустно. Я ходила кругом по саду и при легкои ветре увидела нечто удивительное: разлетались перезрелые вербочки серебристого тополя и его пушистые семена летали вокруг, наполняли весь возрух. как снежинки покрывали землю и весь двор; это выглядело так таинственно, как летал серебристый пушок! Серебристый тополь цветет позднее всех других носителей сережек, и благодаря этому обильному разбрасыванию семян, он распространяется очень широко, его маленькие отпрыски как сорная трава пускают корни во всех трещинах в стене и между камнями.

Затем, меня в 6 часов, как всегда, снова заперли и я грустно сидела у окна с тупой болью в голове, так как было душно, и смотрела вверх, где на пастельном голубом фоне с белыми пушистыми облаками, в головокружительной вышине весело носились ласточки и точно разрезали воздух своими заостренными крыльями, как ножницами. Но вскоре небо потемнело, все смолкло и началась гроза, с сильным местным дождем и двумя оглушительными ударами грома, от которых все задрожало. Вслед за этим была такая картина, которой я не забуду. Гроза вскоре прошла дальше, небо стало густым, одноцветно-серым, вне-

запно спустились на землю глухие бледные, призрачные сумерки, казалось, что свисали густые серые завесы; дождь совсем тихо и равномерно струился по листьям, зарницы раз за разом вспыхивали пурпурно красным цветом, посреди свинцово-серого, и отдаленный гром все время громыхал, как последние слабые волны прибоя. И вдруг посреди всего этого призрачного настроения на клене перед моим окном запел соловей. Посреди всего этого дождя, молнии и грома, он звенел, как светлый колокольчик, он пел как в опьянении, как под влиянием навождения, как будто он хотел заглушить гром, осветить сумерки,—я никогда не слышала ничего до такой степени прекрасного. Его пение на фоне попеременного свинцового и пурпурного неба действовало как светящийся серебристый блеск. Это было так таинственно, так несказанно прекрасно и я невольно повторяла последнюю строчку того, Гетевского стихотворения: «О если бы ты была здесь»...

Всегда Ваша Роза.

Вронке 1. 6. 1917

.... Вообще я хорошо знаю орхидеи; я их прилежно изучала в течение нескольких дней—в чудесной теплице, во Франкфурте на Майне, где целое отделение наполнено ими, тогда, после моего процесса, когда я получила год тюрьмы. Я нахожу, что в легкой

грации и в фантастических неестественных формах есть что-то утонченное, декаденское. Они действуют на меня, как изящные напудренные маркизы рококо. Я восхищаюсь ими, как бы внутренно сопротивляясь своему чувству, и испытывая некоторое беспокойство, потому что моей натуре чуждо все декаденское и извращенное. Мне например, гораздо больше радости доставляет львинный зев, который носит так много солнца в своей окраске и совсем как я, полно и благодарно открывается солнечным лучам, но при малейшей тени вновь робко закрывается.

Что теперь за вечера что за ночи! Вчера на всем лежала неописуемая прелесть. Небо, долгое время после солночного заката, было светящегося опалового цвета, окрашенного полосами неопределенного цвета, как большая палитра, о которую художник, после прилежной дневной работы, широким жестом, вытер кисть, перед тем, как идти на покой. В воздухе было немного предгрозовой духоты, легкое сжимающееся сердце напряженно, кусты стояли совершенно неподвижно, соловья не было слышно, но неутомимый садовый пересмешник с черной головкой еще прыгал в ветвях и издавал резкий крик. Все как будто чего-то дожидалось. Я стояла у окна и тоже ждала—Бог знает чего. После «закрытия» в 6 час. мне ведь между небом и землей больше нечего ждать.....

Вронке 20 июля 1917 г.

Сонечка, моя любимая, так как мое пребывание здесь затягивается дольше, чем я первоначально думала, Вы должны получить последний привет из Вронке. Как вы могли подумать, что я больше не буду писать Вам писем. В моем отношении к Вам ничего не изменилось, ничто не могло измениться. Я не писала потому, что знала что у Вас после отъезда из Эбенгаузена тысяча разных хлопот, отчасти и потому, что у меня не было настроения.

Вы уже знаете, что меня отправляют в Бреславль. Здесь я сегодня угром распрощалась с моим садиком. Погода серая, ветреная и дождливая, по небу гоняются разорванные облака и все же я вполне наслаждалась своей обычной утренней прогулкой. Я распростилась с мощеной узкой дорогой вдоль стены, по которой я в течение почти 9 месяцев ходила взад и вперед, где я уже наизусть знаю каждый камень, каждую сорную травку, растущую между камнями. В камнях мостовой меня интересовали пестрые цвета: красноватый, голубоватый, зеленый, серый. В течение долгой зимы, которая так долго заставила ждать немного живой зелени, мои изголодавшиеся глаза искали немного пестроты и развлечения в этих камнях. А теперь, летом, между камнями было так много своеобразного и интересного. Здесь массами селятся дикие пчелы и осы. Они прободают между камнями круглые отверстия величиною с орех и далее глубокие ходы, при чем они выносят землю изнутри на поверх-

ность и складывают ее хорошенькими кучками, Внутри они кладут яйца и вырабатывают воск и дикий мед; видишь постоянное влетание и вылетание и мне при прогулках приходилось очень следить, чтобы не засыпать их подземных жилищ. Затем, во многих местах муравьи проводят через дорогу свои тропки, по которым они постоянно бегают взад и вперед, так замечательно прямолинейно, как будто бы они вполне постигли математическую аксиому, что прямая линия кратчайшее расстояние между двумя точками, (что напр. первобытным народам совершенно неизвестно). Затем на стене растет густая сорная трава, одни растеньица уже отцвели и разлетаются хлопьями, другие беспрестанно продолжают цвести. Затем есть целое поколение молодых деревцев, которые этой весной на моих глазах вышли из земли посреди дороги или в стене; маленькая акация очевидно нынче выросшая из упавшего стручка старого дерева. Несколько маленьких серебристых тополей тоже только с мая появившихся на свет, но уже в пышном уборе белозеленых листьев, которые они изящно покачивают во время бури, совсем, как старые. Сколько раз я проходила по этой дороге, сколько различных вещей при этом внутренно нережила и передумала. Суровой зимой, после нового снега, я часто впервые прокладывала себе тропинку, в сопровождении моей любимой маленькой черной синицы, которую я надеялась снова увидать осенью и которая меня не найдет, когда прилетит за кормом к знако-

мому месту у окна. В марте, когда посреди жестоких морозов, было несколько дней оттепели, моя дорога превратилась в ручеек. Я помню, как при мягком ветре на поверхности воды вздымались маленькие волны, и кирпичи со стены живо и ярко отражались в них. Затем, наконец, наступил май и первая фиалка на стене, которую я Вам послала.

Пока я сегодня так бродила, наблюдала и думала, у меня все время вертелся в голове Гетевский стих:

Merlin der Alte im leuchtenden grabe
We ich als Jüngling gesprochen ihn habe.

(Древний Мерлин в светящейся могиле,
где я юношей с ним разговаривал).

Вы ведь знаете, как дальше. Стихотворение было, конечно, вне всякой связи с моим настроением и тем что меня внутренне занимало. Только музыка слов и своеобразная прелесть стихотворения убаюкивала меня. Я сама не знаю отчего это происходит, что красивое стихотворение, особенно Гете, так глубоко на меня действует при всяком сильном волнении или потрясении. Это уже почти физиологическое действие, как будто бы я пью чудесный напиток во время страшной жажды, напиток, который меня внутренно освежает и оздоровляет тело и душу, я не знаю стихотворения из «Западно-восточного дивана», которое Вы упоминали в Вашем последнем письме; спишите его мне пожалуйста. Я уже давно хотела получить еще одно, которого нет в моем здешнем томике, Ге-

те, «Цветочный привет». Это маленькое стихотворенье от 4-х до 6-ти строк, я знаю его из неописанно прекрасной песни Вольфа.

Последняя строфа приблизительно такова:

Ich habe sie gepflücket
In heisser Sehnsuchtsqual
Ich habe sie ans Herz gedrücket
Ja wohl eintausendmal.

(Я сорвал его в муке горячей тоски и стремленья.
Я прижал его к сердцу не менее тысячи раз).

В музыке это звучит так свято, нежно и чисто, как коленопреклонение в немом обожании. Но я не помню текста и хотела бы иметь его.

Вчера вечером, около 9-ти, я видела великолепное зрелище. Я с моего дивана заметила в оконном стекле светящийся отсвет розового цвета, что меня удивило, так как небо было совсем серое. Я подбежала к окну и остановилась как вкопанная. На совершенно сером одноцветном небе, на востоке вздымалось большое облако такого неземного прекрасного розового цвета, так само для себя, оторвано от всего, что оно выглядело, как улыбка, как привет из неведомой дали. Я вздохнула, как освобожденная и невольно протянула руки к волшебной картине. Когда есть такие краски, такие формы, тогда жизнь прекрасна и стоит жить, неправда-ли? Я впилась глазами в светящуюся картину и поглащала из нее каждый розовый луч, пока

вдруг, громко не расхохоталась над самой собой. Господи Боже, небо и облака и вся красота жизни ведь не остаются во Вронке, что я с ними прощаюсь, нет, они уйдут со мной и останутся со мной, где бы я ни была и сколько бы ни жила. Скоро напишу Вам из Бреславля. Навестите меня там, как только сможите. Сердечный привет Карлу.

Обнимаю Вас много раз. До свидания—в моей новой тюрьме.

Ваша верная Роза.

ИЗ БРЕСЛАВЛЯ.

Бреславль 2. 8. 1917.

Моя милая Сонечка, Ваше письмо, которое я получила 28-го было первым известием из внешнего мира, которое дошло до меня здесь и Вы легко можете себе представить, как я ему обрадовалась.

В Вашей любящей заботе обо мне, Вы принимаете мое переселение определенно слишком трагично. Я, как Вы знаете, принимаю все обороты судьбы с необходимым веселым спокойствием духа. Я здесь уже хорошо прижилась, сегодня пришли мои ящики с книгами из Вронке. Вскоре мои две камеры здесь будут выглядеть также уютно и по-домашнему, как во Вронке, благодаря моим книгам, картинкам и скромным украшениям, которые я обычно таскаю с со-

бой—и я с удвоенной охотой примусь за работу. Чего мне здесь не достает, это, конечно, относительной свободы движений, которая была у меня там, где крепость целый день стояла открытой, тогда как я здесь просто заперта, затем великолепного воздуха, сада и, больше всего, птиц. Вы не имеете никакого представления, как я привязана к этому маленькому обществу. Но без всего этого, конечно, можно обойтись и я скоро забуду, что я когда-нибудь жила в лучших условиях, чем здесь. Вся обстановка здесь почти такова, как на Барнимштрассе, не хватает только красивого, зеленого лазаретного двора, где я каждый день день могла делать какое-нибудь ботаническое или зоологическое открытие. Здесь на большом, мощеном хозяйственном дворе, который служит мне для прогулок, нечего «открывать». И я при ходьбе судорожно впиваюсь глазами в серые камни мостовой, чтобы только избежать вида занятых во дворе арестантов, которые всегда составляют для меня муку своим безобразным нарядом и среди которого всегда находится несколько, у которых возраст, пол, индивидуальные черты стерты печатью глубочайшего человеческого падения, но которые всегда каким то болезненным магнетизмом притягивают к себе мой взор. Правда, встречаются отдельные фигуры, у которых даже тюремный наряд не может ничего отнять и которые порадовали бы глаз художника. Так, я уже здесь открыла молодую работницу во дворе, стройные, плотные формы которой, голова повязанная

платком со строгим профилем, как будто сошли с картины Милле; удовольствие смотреть с таким благородством движений она таскает тяжести и худощавое лицо с темнопрялегающей кожей и равномерно белым, как мел, цветом напоминает трагическую маску Пьеро. Но наученная горьким опытом я стараюсь далеко обходить подобные многообещающие фигуры. На Барнимштрассе я тоже открыла одну арестантку с истинно королевским видом и манерами и представляла себе соответствующее и внутреннее содержание. Затем, она в качестве конопатчицы зашла в мою камеру и через 2 дня обнаружилось, что под этой красивой маской кроется столько глупости и низких помыслов, что я с тех пор всегда отворачивала голову, когда она пробегала по моей дороге. Я тогда подумала, что Венера Милосская только потому может сохранить через столетия свою репутацию прекраснейшей из женщин, что она молчит. Если бы она открыла рот, может быть, все ее обаяние полетело бы к чорту.

Прямо против меня мужская тюрьма, обычное мрачное кирпичное здание. Но наискось через стену я вижу зеленые верхушки деревьев какого-то парка, большой черный тополь, который ясно шумит при более сильном воздушном течении и ряд гораздо более светлых благородных ясеней, увешанных желтыми стручками. Окна выходят на северо-запад, так что я иногда вижу красивые вечерние облака, а Вы знаете, что одно такое розовое облако способно привести

меня в восторг и вознаградить за все. Сейчас 8 часов вечера (значит, в действительности 7), солнце только зашло за крышу мужской тюрьмы и еще ярко светит через стеклянные люки в крыше и все небо отсвечивает золотом. Я чувствую себя очень хорошо и невольно сама не знаю почему тихо напеваю «Аве Мария» Гуно (Вы наверно его знаете).

Большое спасибо за переписанные вещи Гете. «Избранные мужи» истинно прекрасны, хотя они мне самой и не бросились бы в глаза; иногда познаешь красоту, какой-нибудь вещи только благодаря подсказке. Я попросила бы Вас как нибудь списать мне еще «Могилу Анакреона». Знаете Вы ее хорошо? Я, конечно, правильно поняла ее только через музыку Гуго Вольфа; в пении она производит прямо архитектурное впечатление; кажется, что смотришь на какой-нибудь греческий храм.

Сейчас я сделала маленький перерыв, чтобы понаблюдать за небом, солнце опустилось гораздо ниже за здание и высоко в небе плавают—Бог весть откуда взявшиеся бесшумно сбежавшиеся мириады маленьких облачков, по краям отсвечивающих серебром, нежно серых по середине и направляющих свои изорванные очертания на север. В этом облачном полете, так много беззаботности и холодной улыбки, что я должна улыбаться вместе с ними, как всегда, я повторяю ритм окружающей меня жизни. Как можно при таком небе быть «злым» или мелочным. Не за-

бывайте только посмотреть вокруг себя и Вы сразу снова станете «хорошей».

Меня удивляет, что Карл хочет книжку специально о птичьем пении. Для меня голос птиц неразрывен со всем их бытом и со всей их жизнью, меня интересует только целое, а не какая-нибудь случайно вырванная подробность. Дайте ему хорошую книгу по географии животных, это наверно очень займет его. Я надеюсь, что, Вы скоро меня посетите. Телеграфируйте, как только Вы получите разрешение.

Обнимаю Вас много раз.

Ваша Роза.

Боже, смилуйся надо мной. 8 страниц вышло, ну на сей раз сойдет. Спасибо за книги.

Середина Ноября 1917 г.

Моя любимая Сонечка. Я надеюсь скоро иметь случай наконец послать Вам это письмо и со страстным желанием берусь за перо. Как долго я должна была отказываться от милой привычки поболтать с Вами, хотя бы на бумаге. Но нельзя было. Немногие письма, которые я могла писать я должна была беречь для Ганса Д., который ждал их. Теперь это кончилось. Мои два последние письма были уже посланы мертвому, одно я уже получила обратно. Я все еще не могу охватить этого факта. Но не будем лучше

говорить об этом, я лучше всего справляюсь сама с такими вещами и меня несказанно раздражает, когда «щадя» меня, меня стараются подготовить к страшному известию и собственными жалобами думают меня «утешить», как это сделал Н. Меня оскорбляет, что мои ближайшие друзья все еще так мало знают меня и так недооценивают, что они не понимают, что самое лучшее и самое тонкое в таких случаях сказать мне сразу, но коротко и просто два слова: он умер.... Но покончим с этим.

... Как жалко тех месяцев и дней, которые теперь проходят и во время которых мы могли бы прожить такие хорошие часы вместе, несмотря на все то страшное, что происходит на свете. Знаете ли, Сонечка, чем дальше это длится, чем более все подлое и чудовищное, что происходит каждый день переходит всякие границы и меры, тем тверже и спокойнее я становлюсь. Нельзя применять по отношению к стихии, к бурану, к наводнению, к солнечному затмению нравственные мерки, их нужно рассматривать как нечто данное, как объект исследования и познания.

Это очевидно объективно единственно возможные пути истории и нужно следовать за ней, не давая совратить себя с основного направления. У меня такое чувство, что вся нравственная тина, через которую мы бредем, тот огромный сумашедший дом, в котором мы живем, со дня на день сразу, как от прикосновения волшебной палочки, может превратиться в свою противоположность, в нечто невероятно боль-

шое и героическое и, если война продолжиться еще пару лет, должен превратиться... Прочтите „Боги жаждут“ Анатоля Франса. Я считаю это произведение таким великим главным образом потому, что оно показывает гениальное прозрение общечеловеческого: посмотрите, из каких жалких образов, из каких повседневных мелочей, в соответствующие исторические моменты происходят исполинские события и монументальнейшие жесты. В общественном движении, как и в личной жизни, нужно все принимать спокойно, широко, с мягкой улыбкой. Я твердо верю, что в конце концов, после войны или к концу войны все повернется на правильный путь, но до того мы, по-видимому, должны пройти через период ужаснейших человеческих страданий...

Кстати, мои последние слова вызвали у меня другое представление, факт, которым я хотела бы с Вами поделиться, потому что он показался мне таким поэтичным и таким трогательным. Я недавно читала в одном научном произведении о перелетах птиц, которые до сих пор представляют довольно загадочное явление, что при этом наблюдается, как различные виды, которые обычно борются и поедают друг друга, как смертельные враги, мирно совершают рядом великое путшествие через море на юг: в Египет на зиму прилетают громадные стаи птиц, которые как тучи носятся в вышине и затемняют небо, и в этих стаях вперемежку с хищными птицами: ястребами, орлами, соколами, совами, тысячи маленьких певчих

птичек, как жаворонки, корольки, соловьи, без всякого страха перед таким соседством. Во время путешествия как будто царит перемирие, божий мир, все стремятся к общей цели и на берегу Нила падают полумертвые от усталости и тогда делятся по видам и земляче-ствам. Больше того: наблюдали, что во время этого путешествия через „большой пруд“ большие птицы переносили многих маленьких у себя на спине; видели пролетавших журавлей на спине которых весело чирикали крохотные перелетные птички. Разве это не прелестно?

... Я недавно нашла в безвкусном и лубочном сборнике стихотворений одно Гуго фон-Гофмандсталя. Я вообще его не люблю. Нахожу его изысканным, утонченным, неясным, просто не понимаю его. Но это стихотворение мне очень понравилось. Произвело на меня сильное поэтическое впечатление. Я приложу его для Вас, может быть оно и Вам доставит удовольствие.

Я сейчас глубоко погрузилась в геологию. Она Вам, наверно, кажется очень сухой наукой, но это ошибка. Я читаю ее с лихорадочным интересом и страстным удовлетворением, она колоссально расширяет духовный горизонт и дает такое единное всеохватывающее представление о природе, как никакая другая наука, Я хотела бы рассказать вам об этом целую массу, но для этого мы должны были бы *говорить* друг с другом, побродить после обеда по Зюдендовскому полю или тихой лунной ночью про-

водить друг друга несколько раз до дому. Что Вы читаете? Как обстоит дело с Легендой о Лессинге? Я *хочу все знать о Вас*. Напишите, если возможно немедленно тем же путем, или хотя бы официальным путем, не упоминая этого письма. Я опять потихоньку считаю недели до тех пор пока я Вас снова здесь увижу. Это ведь будет скоро после Нового Года, неправда ли?

Что Карл пишет, когда вы его снова увидите? Большой, привет ему от меня. Обнимаю вас и крепко жму вашу руку моя милая, милая, Соничка.

Пишите скоро и много.

Ваша Роза.

Бреславль, 24/II 1917 г.

... Вы ошибаетесь, что я предубеждена против современных поэтов. Около 15 лет тому назад, я с восторгом читала Демеля—какая-то его вещь в прозе, у смертного одра любимой женщины—у меня осталось о ней смутное воспоминание—меня восхитила. „Фантазус“ Арно Гольца я еще сейчас знаю наизусть. „Весна“ Иоганна Шлафа меня тогда увлекла. Но потом я остыла и вернулась к Гете и Мэрике. Гофмансталя я не понимаю, Георга я не знаю. Правда, я немного боюсь у них у всех мастерского совершенного овладения формой, поэтическим выражением и недостатка при этом великого благородного мировоззре-

ния. Эта двойственность такой пустотой отзывается в моей душе, что красивая форма врevращается для меня в гримасу. Они обычно передают удивительные настроения. Но настроения еще не делают человека.

Сонечка, сейчас такие волшебные вечера, как весной. Я спускаюсь во двор около 4-х, тогда уже смеркается, я вижу отвратительное окружающее, окутанное таинственной завесой темноты, зато небо светится светлой синевой и по нему плавает серебряный ясный месяц. В эти часы над двором тянутся сотни ворон, широкой шумной бандой они летят далеко в поле, к „спальному дереву“, где они отдыхают ночью. Они летят спокойным полетом и перекликаются странными кликами—совсем другими, чем то резкое „кра“, с которым они днем хищно гоняются за добычей. Теперь это звучит придушенно и мягко, глубокий горловой звук, который действует на меня, как маленький металлический шарик. И когда многие по очереди, воркуя испускают это „кау-кау“ мне кажется, будто они играя, перебрасываются металлическими шариками, которые дугой витают в воздухе. Это настоящая болтовня о пережитом „о дне, о сегодня бывшем дне“..., они кажутся мне такими серьезными и важными, когда они каждый вечер следуют своему обычаю и своему предначертанному пути, я испытываю как-бы уважение к этим большим птицам, за которыми я слежу е поднятой головой, до последней. Тогда я брожу взад и вперед в темноте, смотрю на арестантов, которые торопливо заканчивают свои ра-

боты на дворе и движутся кругом, как неясные тени, и радуюсь, что я сама невидима—так одна, так свободна с моими мечтами, с мимолетным приветом между мной и пролетевшей бандой ворон—мне так хорошо при мягком весеннем ветре. Затем арестанты с тяжелыми котлами (вечерний суп) идут через двор в дом по двое, маршем, десять пар друг за другом; я следую последней; во дворе, в хозяйственных постройках постепенно тухнут огни, я вступаю в дом, двери дважды запираются на ключ и на замок—день кончен. Я чувствую себя так хорошо, несмотря на боль из-за Ганса (д-р Ганс Диффенбах, один из лучших друзей Розы Люксембург был убит на войне. Издат.). Я живу в призрачном мире, в котором он совсем не умер. Для меня он продолжает жить и я часто улыбаюсь ему, когда я о нем думаю.

Соничка, будьте здоровы. Я так радуюсь Вашему приезду. Напишите скоро снова—пока официально—это весь тоже возможно, и потом с оказией.

Обнимаю Вас.

Ваша Роза.

Бреславль, середина Декабря 1917 г.

... Теперь уже год, как Карл сидит а Люкау. В этом месяце, я часто об этом думаю, и как раз год тому назад, Вы были у меня в Вронке и подарили мне красивую елку... Сегодня я заказала себе елку

здесь, но мне принесли совсем истрепанную, с недостающими ветками—никакого сравнения с прошлогодней. Я не знаю, как я прикреплю к ней восемь свечек, которые я раздобыла. Это мое третье Рождество в тюрьме, но не принимайте этого трагично. Я спокойна и весела как всегда. Вчера я долго не могла заснуть—я теперь никогда не засыпаю до часу, но ложиться должна уже в 10, — тогда я в темноте мечтаю о разных вещах. Итак вчера я думала: как странно, что я постоянно живу в радостном опьянении—без всякой особенной причины. Так например, лежу я здесь в темной камере, на твердом как камень матрасе, вокруг меня в доме царит обычная кладбищенская тишина, кажется, что находишься в могиле, из окна на одеяло падает отсвет фонаря, который всю ночь горит перед тюрьмой. От время до времени глухо слышится отдаленный шум проходящего поезда или совсем близко под окном откашливание часового, который со своими тяжелыми сапогами медленно делает несколько шагов, чтобы размять отекшие ноги. Песок так безнадежно скрипит под его шагами, что из этого как бы звучит в сырую темную ночь вся пустота и безисходность сушествования. И я тихо лежу одна, окутанная этими разнообразными черными покровами темноты, скуки, неволи, зимы—и при этом мое сердце бьется от непонятной, неведомой внутренней радости, как если бы я шла по цветущему лугу при сияющем, солнечном свете. И я в темноте улыбаюсь жизни, как будто бы я знала какую-то вол-

шебную тайну, которая изобличает во лжи все злое и печальное и живет только в свете и в счастьи. И при этом я сама ищу причины для этой радости, ничего не нахожу и снова улыбаюсь сама над собой.— Я думаю, что тайна, ничто иное как сама жизнь; глубокая ночная темнота—прекрасна и мягка, как бархат, если только правильно взглянуть, и в скрипе сырого песку под медленными тяжелыми шагами часового тоже поется маленькая прекрасная песнь о жизни, если только уметь правильно слушать. В такие моменты я думаю о Вас. Я бы так хотела поделиться с Вами этим волшебным ключем, чтобы Вы всегда и во всяких положениях находили красоту и радость жизни, чтобы Вы тоже жили в опьяненении и как бы переходили через пеструю лужайку. Я не думаю кормить Вас аскетизмом, надуманными радостями. Я иредоставляю Вам все настоящие чувственные радости. Я хотела бы только ко всему этому передать Вам мою неисчерпаемую внутреннюю радостность, чтобы я была спокойна, что Вы проходите сквозь жизнь в шитом звездами плаще, который охраняет Вас от всего мелкого тривиального и страшного.

Вы нарвали в Штеглицком парке красивый букет из черных и розово-фиолетовых ягод. Для черных ягод можно принять во внимание либо бузину—ее ягоды свисают тяжелыми густыми гроздями между большими перистыми листьми, Вы наверное их знаете, или, вернее, жимолость, длинные, изящные, прямые

метелки из ягод и узкие, продолговатые зеленые листочки. Розовато-фиолетовые ягоды спрятанные среди маленьких листочков могут быть карликовым боярышником; они правда, собственно говоря, красные, но в такое позднее время года немного переспели и подгнили и часто кажутся фиолетово-красноватыми; листочки напоминают миртовые, маленькие заостренные на конце, темно-зеленые и гладкие сверху, шероховатые снизу.

Сонюша, знаете ли Вы, «Роковую вилку» Платена. Не могли ли бы Вы прислать ее или привести· Карл как то упоминал, что он читал ее дома. Стихотворения Георга прекрасны; теперь я знаю откуда происходит стих: „И под ропот красноватой ржи“, которой Вы обычно говорили, когда мы ходили гулять в поле. Не могли ли бы Вы как-нибудь списать мне „Нового Амадиса“, я так люблю это стихотворение—конечно, благодаря песне Гуго Вольфа—но здесь его у меня нет. Продолжаете ли Вы читать легенду о Лессинге? Я снова ухватилась за «Историю Материализма» Ланге, которая всегда занимает и освежает меня. Я бы так хотела, чтобы Вы ее как-нибудь прочли.

Ах, Сонечка, я здесь пережила острое страдание На двор, где я гуляю часто приезжают военные обозы, наполненные мешками или старыми солдатскими мундирами и рубахами, часто с кровавыми пятнами... они здесь разгружаются, распределяются по камерам, чинятся, затем вновь нагружаются и сда-

ются солдатам. Недавно приехала такая телега, запряженная не лошадьми, а буйволами. Я впервые видела этих животных вблизи, они сильнее и шире сложены, чем наши волы, с плоскими головами и плоскозагнутыми рогами, черепа напоминают наших коз, совсем черные с большими кроткими глазами. Они происходят из Румынии, это военные трофеи... Солдаты, которые правили телегой разсказывали, что было очень трудно поймать этих диких животных и еще труднее приучить их, привыкших к свободе, к перевозке тяжестей. Их страшно бьют, так, что к ним вполне применима поговорка: горе побежденным ...Говорят в одном Бреславле около сотни этих животных, к тому же они, привыкшие к обильным румынским пастбищам, получают жалкий корм в весьма ограниченном количестве. Они беспощадно используются для перевозки всевозможных тяжестей и при этом скоро погибают. И вот несколько дней тому назад, во двор в'ехала такая телега, нагруженная мешками; груз был так высоко наложен, что буйволы никак не могли перетащить его через порог при в'езде в ворота. Сопровождающий солдат, очень грубый парень, начал так бить их толстым концом рукоятки кнута, что возмущенная надзирательница спросила его не чувствует ли он никакой жалости к животным. «К нам людям тоже никто не чувствует жалости», ответил он со злобной улыбкой и стал бить еще сильнее. Животные в конце концов перевалили через ворота, но у одного шла кровь...

Сонечка, буйволиная кожа вошла в поговорку за свою толщину и крепость и она была разорвана. Животные при разгрузке стояли совершенно тихо. измученные и одно из них, то, у которого шла кровь, стояло с таким выражением черного лица и кротких черных глаз, как у заплаканного ребенка. Это было прямо выражение ребенка, который был жестоко наказан и не знает за что, почему, не знает, как уйти от муки и грубого насилия... Я стояла перед ним и животное смотрело на меня, у меня текли слезы,— это были его слезы, нельзя с большим страданием переживать горе любимейшого брата, чем я в своем безсилии переживала эту немую боль. Как далеки, как безвозвратно потеряны свободные, сочные, зеленые пастбища Румынии! Как по другому там светило солнце, дул ветер, как по иному звучали красивые песни птиц или мелодические призывы пастухов! А здесь этот черный, страшный город, душное стойло, вызывающее отвращение, перепрелое сено, смешанное с гнилой соломой, чужие страшные люди и — удары, кровь, которая течет из открытой раны... О, мой бедный буйвол, мой бедный любимый брат, мы оба стоим здесь такие бессильные и покорные и об'едененны страданием, бессильем, тоской.—Тем временем арестанты деловито копошились вокруг телеги, сгружали тяжелые мешки и таскали их в дом. А солдат засунул обе руки в карманы, прогуливался большими шагами по двору, улыбался и тихонько насвистывал частушку. И вся великолепная война

прошла передо мной... пишите скорей, обнимаю Вас, Сонечка.

Ваша Роза.

Сонюша,—милая, будьте несмотря ни на что спокойны и веселы. Такова жизнь и так нужно ее принимать, смело, не унывая и с улыбкой—несмотря ни на что.

Бреславль 14.1 1918 г.

Моя милая Сонечка. Как давно я Вам не писала. Мне кажется, что прошли целые месяцы. Я еще и сегодня не знаю в Берлине ли Вы уже, но хочу надеяться, что эти строки дойдут до Вас к Вашему дню рождения. Я просила Матильду послать Вам от меня букет орхидей, теперь бедняжка лежит в больнице и вряд ли сможет выполнить мое поручение. Но Вы знаете, что я в мыслях всем сердцем с Вами и хотела бы к Вашему дню рождения всю осыпать Вас цветами: лиловыми орхидеями, белым нрисом, душистыми гиацинтами; словом, всем, что только можно достать. Может быт мне удастся по крайней мере в будущем году *) самой принести Вам цветов к этому дню и совершить с Вами прогулку в Ботанический сад и в поле.

---

*) В „будущем“ году 15 Января 1919 г. Роза Люксембург вместе с Карлом Либкнехтом была убита агентами террористическаго центра, работающего для возстановления старого режима, под покровительством Эберта — Носке, Штампфера и к-о.

Как чудно бы это было! Сегодня у нас ноль градусов. Но в то же время в воздухе чувствуется такое мягкое освежающее дуновение весны и наверху между густыми белыми молочными облаками просвечивает такое глубокое синее небо, к тому же воробьи чирикают так радостно, можно подумать, что сейчас конец марта. Я уже вперед так радуюсь весне, единственному, чем никогда не пресытишься, пока живешь, что наоборот с каждым годом научаешься больше ценить и любить. Знаете ли Вы, Сонечка, что начало весны в органической природе, т.-е. пробуждение жизни, начинается *сейчас*, в начале января не дожидаясь весны календарной. В то время, как по календарю только начинается зима, мы находимся в наибольшей астрономической близости к солнцу, и это имеет такое таинственное влияние на все живое, что и в нашем северном полушарии окутанном зимним снегом, в начале января животный и растительный мир пробуждается как от взмаха волшебной палочки. Почки сейчас начинают развиваться, многие животные начинают размножаться. Недавно я прочла у Франсе наблюдение, что наиболее выдающиеся, научные и литературные произведения знаменитых людей падают на январь, февраль месяцы. Таким образом и в человеческой жизни солнцеворот после Рождества как будто является критическим моментом и вызывает новый прилив всех жизненных сил. Вы, Сонечка, тоже такой ранний цветочек, распустившийся посреди снега и льда и который поэтому всю жизнь

немного мерзнет, не чувствует себя дома в жизни и требует нежного тепличного ухода.

Я страшно была рада Родену, которого Вы мне подарили к Рождеству и поблагодарила бы Вас сразу, если бы Матильда не сказала, что Вы во Франкфурте. Особенно приятно меня поразило чувство природы у Родена, его уважение ко всякой травке в поле. Он должно быть, был великолепным человеком; открытым, естественным, с переливающейся через край внутренней теплотой и интеллигентностью. Он определенно напоминает мне Жореса. Нравится ли Вам мой Бродкоренс, или Вы его уже знаете? Меня этот роман очень захватил; особенно описание природы отличается высокой поэтической силой. Бродкоренсу, видимо также как и Де-Костеру кажется, что, „над страной Фландрией“ солнце гораздо роскошнее восходит и заходит, чем над прочей землей. Я нахожу, что все фламандцы прямо влюблены в свою маленькую страну, они описывают ее не как красивый кусок земли, а как сияющую молодую невесту. И в мрачно трагичной развязке я тоже нахожу сходство красок с грандиозными картинами в стиле Уленшпигеля, например, с разрушением публичного дома. Не находите ли Вы, что эти книги по колориту напоминаютРембрандта. Темные тона всей картины, смешанные с мерцающим старым золотом; ошеломляющий реализм всех подробностей, а целое отодвинуто в область сказочных фантазий. Я прочла в „Берлинер Тагеблат“, что в музее Фридриха висит новая

большая картина Тициана. Видели ли Вы его уже? Я сознаю, что Тициан собственно не является моим другом, он для меня слишком прилизанный и холодный, слишком виртуоз—простите, если это является оскорблением величества, но я могу только выразить свое непосредственное чувство. Но несмотря на это, я была бы счастлива, еслибы я сейчас могла бы сходить в музей Фридриха посмотреть на нового гостя. Видели ли Вы наследство Кауфмана, о котором так много шумели.

Мое чтение сейчас составляют различные старые этюды о Шекспире 60-х и 70-х годов, когда в Германии еще живо обсуждались шекспировские вопросы. Не могли ли бы Вы достать мне из Королевской библиотеки или из библиотеки рейхстага: Клейна „Историю Итальянской Драмы"; Шака „Историю Драматической литературы в Испании", Гервинуса и Ульрици о Шекспире. Как Вы сами относитесь к Шекспиру? Напишите скорей. Обнимаю Вас и горячо жму Вашу руку.

Будьте спокойны и веселы, несмотря ни на что. Милая Сонечка, до свидания.

Когда Вы приедете?

Сонюша, будьте такой милой, пошлите Матильде И. гиацинтов от меня. Я Вам отдам деньги, когда Вы будете здесь.

Ваша Роза.

Бреславль, 24/3 1918 г.

Моя любимая Сонечка, как давно я Вам не писала, и как часто я в это время думала о Вас! „Текущий момент“ по временам даже и у меня отымает охоту к писанию. Если бы сейчас можно было быть вместе и бродя по полю болтать о разных разностях, это было бы благодеянием, но на это в настоящее время нет никакой надежды. Моя жалоба отослана с подробным описанием моей злостности и неисправимости и прошение, хотя бы о кратковременном отпуске, тоже самое потерпело ту же участь. Я, очевидно, должна ждать пока мы победим весь мир.

Сонюша, когда я долго не получаю от Вас известий, у меня такое чувство, что Вы там одиноко, беспокойно, раздраженно и безнадежно носитесь по ветру, как оторвавшийся листочек, и мне это очень больно. Посмотрите, сейчас опять начинается весна, дни уже такие светлые и длинные и в поле уже наверное есть на что посмотреть и что послушать. Выходите побольше, небо сейчас такое интересное и разнообразное, с беспокойно носящимися облаками, еще голая известковая почва должна быть очень красива при таком изменчивом освещении. Насмотритесь всего досыта для меня... Это единственное, чего никогда в жизни не бывает слишком много, что постоянно имеет одинаковую прелесть новизны и всегда остается Вам верным. Вы еще непременно должны сходить для меня в Ботанический сад, дать мне точный отчет кое о чем. Этой весной происходит нечто странное:

все птицы прилетели на 1—1 1/2 месяца слишком рано. Соловей был здесь уже 10-го марта, вертишейка, которая прилетает только в конце апреля хохотала уже 15-го и даже иволга, которую называют Троицыной птичкой и которая никогда не появляется раньше мая, уже неделю свистит до восхода солнца, в предутреннем рассвете. Я слышу их всех издалека, из парка при доме умалишенных. Я совсем не могу объяснить себе столь раннего возвращения на родину и хотела бы знать, наблюдается ли то же самое, где-нибудь в другом месте или это следует объяснить влиянием здешнего сумасшедшего дома. Сходите в Ботанический сад, Сонечка, в послеобеденные часы в солнечный день, прислушайтесь ко всему и сделайте мне доклад. Для меня ведь это является, на ряду с исходом битвы у Камбре, самым важным на свете, настоящим сердечным делом.

Как красивы картины, которые Вы мне прислали. О Рембрандте и говорить нечего. У Тициана я еще более была потрясена лошадью чем всадником; я не считала возможным выразить столько королевской мощи и благородства в изображении животного, но самое, самое красивое—портретжен щины Бартоломео. Да Венеция (которого я впрочем совсем не знала). Какое опьянение красками, какая тонкость рисунка, какая таинственность прелесть выражения. Этим она неопределенно напоминает мне Мону Лизу. Этими картинами Вы внесли в мою камеру полноту радости и света.

Вы, конечно, должны сохранить книгу Ганса (Ганс Диффенбах), мне больно, что не все его книги попадут в *наши* руки. Я бы отдала их Вам охотнее, чем кому бы то ни было. Получили ли Вы Шекспира хоть приблизительно во время? Что пишет Карл? когда Вы его опять увидите? Большой, большой привет ему от меня и передайте ему от меня: ça ira! несмотря ни на что. Будьте бодры и веселы; радуйтесь весне: будущую мы проведем вместе. Обнимаю Вас, милая, Желаю Вам счастливой Пасхи. Большой привет детям.

Ваша Роза.

Бреславль 2.8.1918 г.

... Я прочла Кандида и Графиню Ульфельд и наслаждалась обоими. Кандид в таком дивном издании, что я не могла решиться разрезать книгу и читала ее так: так как она сброшюрована в полулистах это было очень легко. Это злостное сопоставление всех человеческих злосчастий до войны, вероятно, произвело бы на меня впечатление каррикатуры, теперь же оно кажется вполне реалистическим... В конце я наконец узнала откуда происходит поговорка: «Mais il faut cultiver notre jardin»... *), которую я сама иногда употребляла. Графиня Ульфельд интересный куль-

---

*) Нужно возделывать наш сад.

турный документ, дополнение к Гриммельгаузену.... Что Вы делаете? наслаждаетесь ли Вы великолепной весной?

Всегда Ваша Роза.

Бреславль 15.5.1918 г.

Сонечка, Ваше письмецо так обрадовало меня, что я сразу хочу на него ответить. Видите сколько наслаждения и восторга Вам доставляет посещение Ботанического сада. Почему Вы не доставляете себе такого удовольствия почаще. И я тоже получаю нечто, когда Вы мне так горячо и красочно описываете свои впечатления, уверяю Вас. Да я знаю чудесные рубиново-красные сережки цветущей сосны. Они так невероятно прекрасны, как впрочем и почти все остальное, когда оно стоит в полном цвету, что каждый раз не доверяешь собственным глазам. Эти красные сережки—женские цветы, из которых впоследствии выходят тяжелые черные шишки, которые поворачиваются и свисают вниз; на ряду с ними бывают незаметные бледно-желтые мужские цветы сосны, которые распространяют золотистую пыльцу.—«Петтория» мне неизвестна, Вы пишите—вид акации. Хотите ли Вы сказать, что у нее такие же перистые ласточки и мотыльковые цветы, как у так называемой акации. Вы вероятно знаете, что дерево, которое в общежитии так называется, совсем не акация, а «робиния»,

настоящей акацией является, например, мимоза; эта, действительно, цветет фосфорно-желтыми цветами с опьяняющим ароматом, но я не могу себе представить, чтоб она свободно росла в Берлине, так как это тропическое растение. В Аяччо в Корсике я видела в декабре на городской площади цветущие мимозы— гиганские деревья... Здесь я к сожалению, только издали могу наблюдать из окна зелень деревьев, верхушки которых я вижу из за стены; я пытаюсь по форме и окраске угадать виды деревьев и, повидимому, в большинстве случаев угадываю правильно. Недавно здесь принесли в дом отломанную ветку, которая вызвала всеобщий интерес своим своеобразным видом, все спрашивали, что это такое. Это был вяз; помните как я Вам его показывала ва улице в моем Зюденде, осыпанный душистыми пакетиками бледно-розовато-зеленоватых плодов; это было тоже в мае и Вы были совсем увлечены фантастическим видом .Здесь люди живут десятилетиями на улице, обсаженной вязами и до сих пор не «заметили» как выглядит цветущий вяз... И такая же тупость обнаруживается по отношению к животным. Большинство горожан, по существу, действительно грубые варвары... У меия наоборот, внутреннее сростание с органической природой—не включая человечества — принимает почти болезненные формы, что вероятно, зависит от моего нервного состояния. Внизу парочка хохлатых жаворонков высидела птенца—остальные три очевидно погибли. Этот уже очень хорошо бегает. Вы может-

быть заметили, как смешно бегают хохлатые жаворонки, переступая маленькими ловкими шажками, не прыгая обеими ножками, как воробей. Он умеет уже хорошо летать, но вероятно сам еще не находит довольно пищи: насекомых, гусениц и т. д. — особенно в такие холодные дни. Он появляется каждый вечер на дворе под моим окном и пищит громко, резко и жалобно, в ответ на что немедленно появляются оба старика и тихо отвечают озабоченным боязливым «хуид-хуид», затем начинают быстро бегать кругом, с отчаянием пытаясь найти что-нибудь с'едобное в сумерках и в холоде, тогда они подходят к жалующемуся детенышу и суют ему найденное в клюв. Это теперь повторяется каждый вечер в $8^1/_2$ час. и когда под моим окном начинается этот резкий жалобный писк, и я вижу беспокойство обоих маленьких родителей, у меня буквально сердце сжимается. При том я ничем не могу помочь, так как хохлатые жаворонки очень боязливы и, если им бросают хлеб, они улетают, не то что голуби и воробьи, которые уже бегают за мной как собачки. Напрасно я говорю себе, что это смешно, что я не могу быть ответственной за всех голодных хохлатых жаворонков на свете и не могу плакать о всех избитых буйволах — как те, которые здесь ежедневно привозят мешки во двор. Это мне не помогает и я положительно больна, когда я слышу или вижу что-нибудь подобное. И когда скворец, который до безконечности целый Божий день где-то поблизости повторяет свою взволнованную

болтовню, на несколько дней замолкает, я не могу успокоиться, боясь, что с ним случилось что-нибудь скверное и с мукой жду, чтобы он продолжал свистеть свою чепуху, только бы я знала что с ним все благополучно. Таким образом я из своей камеры связана непосредственными тонкими нитями с тысячью мелких и крупных тварей и реагирую на все с беспокойством, болью, угрызениями совести... *Вы* тоже принадлежите ко всем этим птицам и тварям, за которые я издали внутренне вибрирую. Я чувствую как Вы страдаете оттого, что годы безвозвратно проходят, а мы не „живем“. Но терпение и мужество! Мы еще будем жить и переживем великие события. Теперь мы видим, как целый старый мир проваливается, каждый день кусок—новый провал, новое гигантское падение... и самое смешное, что большинство этого не замечает и думает, что оно стоит на твердой почве.

Сонечка, нет-ли у Вас, или, может-быть, Вы можете достать Жиль Блаза и Хромого Чорта? Я Лесажа совсем не знаю и давно уже хотела его прочесть, Знаете ли Вы его? В худшем случае я куплю его себе в издании Реклама.

Сердечно обнимаю Вас.

Ваша Роза.

Напишите скорее, как поживает Карл.

Может-быть у Пфемферта есть «Льняное Поле» Стийна Стрейфельса, это тоже фламандец; книга появилась в Инзельферлаге, говорят очень хорошая.

BIBLIOTEKA NARODOWA B.V

Бреславль 15.10. 1918 г.

Милая Сонечка. Я писала Вам третьяго дня. До сегодняшнего дня я не получила ответа на мою телеграмму имперскому канцлеру, это может продлиться еще несколько дней. Во всяком случае одно вполне определилось: мое настроение таково, что посещение моих друзей под надзором, стало для меня невозможным. Я терпеливо все выносила все эти годы и при других условиях оставалась бы такой же терпеливой еще годы. Но после общего изменения положения, в моей психологии произошел надлом. Разговоры под наблюдением, невозможность говорить о том, что меня действительно интересует, так тяжелы для меня, что я лучше откажусь от всякого посещения, пока мы не увидимся свободными людьми.

Долго это уже не может продолжаться. Если Дитман и Курт Эйснер выпущены на свободу, меня не могут держать дольше в тюрьме, и Карл скоро тоже будет свободным. Поэтому лучше подождем свидания в Берлине.

Всегда Ваша Роза.

BIBLIOTEKA NARODOWA BN

Biblioteka Narodowa
Warszawa
300010200007O5

БИБЛИОТЕКА · BN · NÁRODNÁ